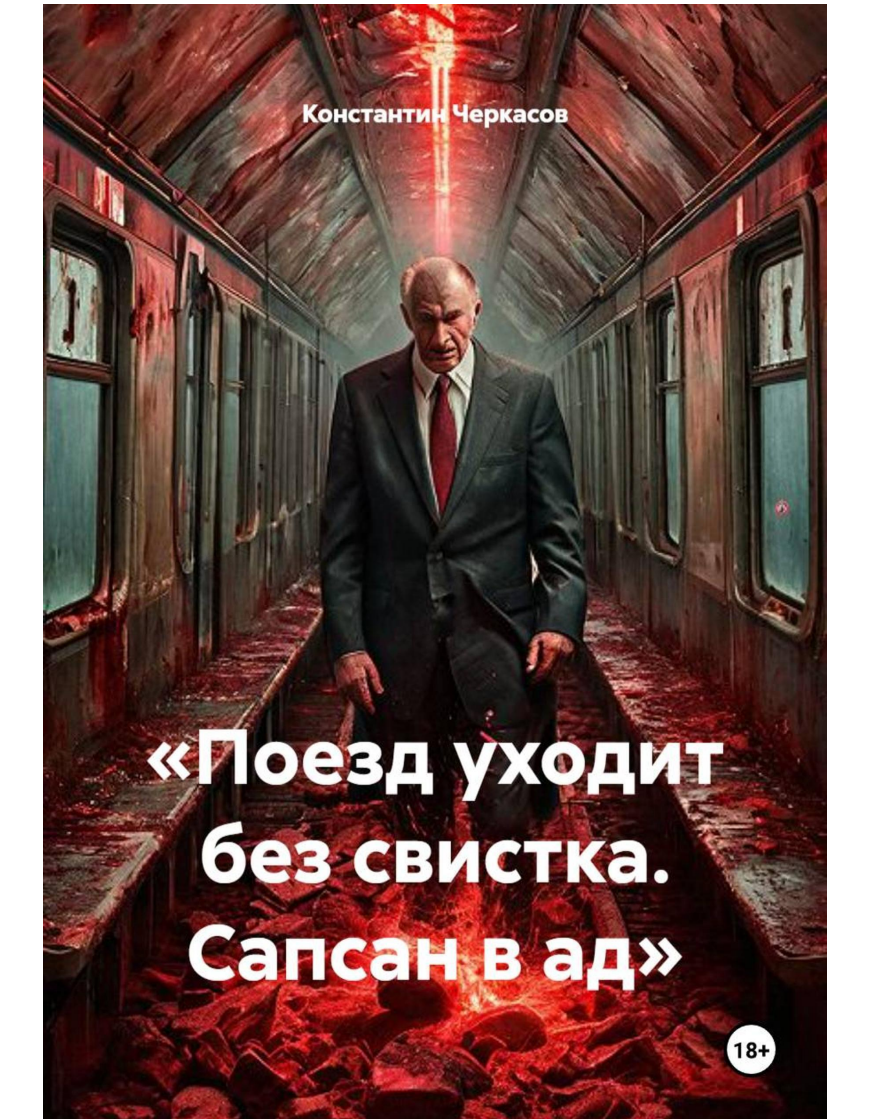


A dramatic and dark image of a man in a dark suit and red tie walking down the center aisle of a train car. The train car is heavily damaged, with its interior walls and floor covered in a thick layer of red, glowing, molten lava or blood. The ceiling is also covered in this red substance, with a bright, vertical beam of light shining down from the center. The man has a serious, almost grimacing expression. The overall atmosphere is one of horror and tragedy.

Константин Черкасов

**«Поезд уходит
без свистка.
Сапсан в ад»**

18+

Константин Черкасов «Поезд уходит без свистка. Сапсан в ад»

<https://litres.ru/74100161>

SelfPub; 2026

Аннотация

Он проснулся в вагоне без памяти. Но теперь он знает, кто он. Сергей Александрович — мясник, убийца, превращавший живых людей в кожу и фарш. Его поймали, убили и отправили в последний путь — на «Сапсане» прямиком в ад.

Но ад оказался иным. Здесь нет огня. Ад — вечная память о содеянном. Ад — лица жертв в окнах. Ад — сердце, пронзённое иглами грехов. Проводники ведут его по пути: старая проводница, чьё лицо изуродовано его преступлениями; демон-искуситель, забирающий боль; Харон, уставший от тысячелетнего одиночества. И Надежда, шепчущая о выходе.

Сергей проходит путь заново. Видит каждую жертву. Чувствует каждый надрез. Учится помнить, чувствовать и просить прощения. В конце — выбор: исчезнуть в свете или навечно остаться в мастерской, шить из собственной кожи и искупать грехи, которым нет прощения.

Продолжение истории о поезде, уходящем без свистка. Мистика, психология и жестокая правда о том, как человек становится монстром и как боль становится дорогой к прощению.

Константин Черкасов

«Поезд уходит без свистка. Сапсан в ад»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ВАГОН ДУШ.

Глава 1. Явь без сна

Сознание возвращалось не рывком, а медленным, тягучим наплывом, похожим на то, как проступает изображение на старой фотобумаге в проявителе. Сначала — звук. Он был везде, он был самым воздухом. Гул. Не гудок, нет, — гул, низкий, вибрирующий, от которого закладывало уши и начинала ныть затылочная кость. Этот гул пронизывал вагон насквозь, дрожал в стакане, оставленном на столике, переливался в стеклопакете, за которым угадывалась не чернота, а какая-то стойкая, мазутная полумгла.

Потом — запах. Это было хуже звука. Запах нельзя было игнорировать, он лез в ноздри, обволакивал язык горькой пленкой. Железо, разогретое до красноты, смешанное с озоном, и — странная, тошнотворная сладость, которая въелась в обивку сидений. Эта сладость напоминала о чем-то знакомом. О подвале. О сыром подвале, где висят туши, а на столе, под лампочкой без абажура, лежат инструменты, разложенные по размеру. Сергей Александрович открыл глаза.

Потолок был низким, обшитым темно-вишневым барха-

том, который на ощупь, если бы он дотянулся, наверняка оказался бы жестким, как наждак. Он лежал на диване — слишком широком для одного, но слишком узком, чтобы вытянуться во весь рост. Ноги подгибались, икры сводило судорогой. Он попытался сесть, и мир качнулся. В ушах зашумело, а перед глазами поплыли рыжие круги. Он зажмурился, считая до десяти, как учил себя когда-то, чтобы не потерять сознание в самый неподходящий момент.

В вагоне было тихо, если не считать этого проклятого гула. Пластиковая перегородка купе была зашторена плотной, пыльной портьерой, которая, судя по всему, не видела стирки со времен основания железных дорог. Сергей поднял руку. Пальцы были его, он узнал их — длинные, с аккуратными, чисто подстриженными ногтями. Он всегда следил за руками. Работа требовала деликатности. Он провел ладонью по лицу — щетина, густая, колючая, за сутки, а может, за трое. Он не помнил.

Он не помнил, как попал сюда.

Память напоминала кисель — вязкий, мутный, в котором тонули отдельные куски. Последнее четкое воспоминание было серым. Серый кабинет, лампочка дневного света, которая мерцала и жужжала. Стол с металлическими ножками. Человек, напротив. Лица он не помнил — только голос, безэмоциональный, механический. И вопрос: «Вы понимаете, что это значит?» Что значит — он не помнил. А потом провал. И вот — поезд.

Он сел, наконец, свесив ноги с дивана, упершись ботинками в грязный пол. Ботинки были его, хорошие, немецкие, которые он берег и натирал до зеркального блеска по субботам. Теперь они были заляпаны чем-то липким, похожим на грязь, но цвет у этой грязи был подозрительно красный. Он потянулся к столику, где стоял граненый стакан с водой. Вода была мутная, на донышке плавали какие-то хлопья. Он все равно сделал глоток. Горло саднило, будто он кричал несколько часов подряд.

За окном ничего не было. Вернее, не было привычного пейзажа. Когда он повернул голову, прижавшись лбом к холодному стеклу, он разглядел не бескрайние поля и не бетонные заборы, а размытое мельтешение. Белые и красные искры били в стекло, оставляя короткие, мгновенные росчерки. Иногда в этом потоке проступали очертания — металлические фермы, какие-то порталы, провода, толстые, как змеи, идущие параллельно составу. Но все это несло с такой скоростью, что мозг отказывался складывать картинку в осмысленную реальность. Казалось, поезд летел не по рельсам, а по раскаленной проволоке над бездной.

— Проснулись, касатик?

Голос был скрипучий, женский, с надрывом, как у старой гармошки. Сергей вздрогнул. Он не слышал, как открылась дверь. Она стояла на пороге, сгорбившись, держа в дрожащих руках поднос. На подносе стоял заварной чайник, облупленный, с отбитым носиком, и пиала с чем-то серым, на-

поминающим овсянку, но с резким запахом тушенки.

Женщина была стара. Нет, стара — это мягко сказано. Она была выжжена. Лицо ее напоминало сморщенный, много раз сложенный и снова развернутый пергамент. Темные пятна пробивались сквозь желтоватую кожу, которая висела складками, будто была велика на пару размеров. Глаза ее — выцветшие, слезящиеся, с красными, воспаленными веками — смотрели на Сергея с такой липкой, приторной жалостью, что ему захотелось отвернуться. Длинный, крючковатый нос почти касался подбородка. Она улыбнулась, открыв редкие, желтые зубы.

— Отлежался, — сказала она, ставя поднос на столик. От движения у нее тряслись руки, и чайник звякал о край пиалы. — Ты это, попей. Сахар есть. Мед. Поправляться надо.

Сергей молчал. Он впился взглядом в ее руки. Руки были в морщинах, с узловатыми суставами, но на пальцах блестели кольца. Тонкие, серебряные, с какими-то черными камнями. В одном из колец, на безымянном пальце, он заметил странную символику — перевернутый треугольник, пересеченный линией. Его передернуло. Ему показалось, что он уже видел этот знак. В другой жизни.

— Где я? — спросил он. Голос сорвался на хрип. Словно он глотал битое стекло.

— В поезде, касатик, — ласково ответила она и поправила косынку на голове. Косынка была черной, старой, выцветшей, как сажа. — В хорошем поезде. Ты теперь пассажир.

Билетик у тебя, поди, есть? Посмотри в кармане. В пиджачке.

Сергей опустил взгляд на себя. На нем был его пиджак — темно-серый, в мелкую клетку, который он носил в магазине. Дорогой пиджак. Он сунул руку во внутренний карман и нащупал что-то шершавое, плотное. Он вытащил это и развернул.

Это был билет. Но сделан он был не из бумаги. Билет был из кожи. Светло-коричневой, хорошо выделанной кожи, с тиснением. Он знал эту кожу. Он знал этот запах. Свой запах. На билете стоял номер вагона — семь — и место — восемнадцатое. И какой-то штамп, напоминающий печать, которую ставят на документах. Но вместо герба там был отпечаток чьей-то ступни.

— Семь — число божественное, — зашепелявила старуха, заглядывая через его плечо. — А восемнадцать... восемнадцать — это жизнь. Полная жизнь. Так что все у тебя правильно. Да ты не бойся, Сереженька. Ты мой хороший.

От приторного «Сереженька» его затошнило. Он хотел сказать ей, чтобы она убиралась, чтобы она закрыла свой гнилой рот, но вдруг заметил, что вся ее фигура — сгорбленная, в поношенной синей форме проводницы, с блестящими, стертыми пуговицами — начало двоиться, или у него просто плыло перед глазами. Он помотал головой.

— Что это за станция была? — спросил он, кивая на окно. Сквозь стекло, за мельканием искр, вдруг проступил свет.

Яркий, белый, чистый свет, льющийся с платформы. — Я слышал остановку. Там кто-то заходил.

Старуха оглянулась на окно, и ее лицо исказила странная гримаса. Гримаса боли и счастья одновременно.

— А то, Сереженька, станция «Рождественская». Там девочка одна вышла. В белом платьице. Лет шести, не больше. И мамка ее ждала на перроне. Так красиво стояли, ручками махали... Там теперь рай. Ты не смотри, что в окне темно. Для них там ярко. Очень ярко.

Сергей прилип к стеклу. Он вглядывался в эту белизну, в этот свет, который сочился сквозь бетонные конструкции, и видел там не рай. Он видел силуэты. Маленькие, детские силуэты, которые он узнавал по походке, по этому особенно-му, незащитному повороту головы. Они уходили по светлой лестнице вверх, держась за руки с незнакомыми ему мужчинами и женщинами. Они смеялись. Одна из них — с бантом, с большим, белым бантом, как у той, из Парка культуры, — оглянулась на поезд. Она посмотрела прямо на него. Сквозь стекло. Сквозь гул. Сквозь года.

У Сергея перехватило дыхание. Сердце забилося где-то в горле, тяжело, бухая, как поршень. Он отшатнулся от окна, прижался спиной к бархатной обивке. Руки его задрожали. Он сжал их в кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони до боли, до крови.

— Вы... вы видели? — прошептал он, глядя на старуху. — Там девочка. Она...

— Тише, тише, касатик, — старуха подошла ближе, и он почувствовал исходящий от нее странный холод. Никакого тепла. Она положила свою сухую, жесткую ладонь на его лоб. Ладонь была как древесная кора. — Это не твоя забота. Ты пассажир. Ты просто едешь до своей остановки. А она уже доехала. У ней билетик был действителен. У нее все хорошо.

— Откуда вы знаете? — спросил он срывающимся голосом. — Откуда вы знаете, что у нее хорошо?

Старуха вздохнула, и этот вздох был похож на скрип несмазанной двери. Она убрала руку, и на его лбу осталось странное ощущение — будто его коснулись холодной землей.

— А я проводник, Сереженька, — сказала она тихо, почти шепотом. — Я все про всех знаю. Я здесь, чтобы вы не заблудились. Успокойся. Сейчас кто ни будь подсядет, он чай с тобой попьет. А ты пока отдохни. Скоро следующая станция. Там мальчишки зайдут. Шумные. Веселые.

Она развернулась и, шаркая туфлями, вышла в коридор. Дверь закрылась за ней не сразу, и Сергей услышал, как она тихо, с присвистом, насвистывает мелодию. Ту самую, которую играл шарманщик у его подвала. Ту, которая всегда звучала, когда он входил в мастерскую.

Он остался один. Гул поезда заполнил тишину. Где-то там, за окном, продолжали мелькать искры. Свет станции «Рождественской» погас, уступив место темноте. Сергей посмотрел на стакан с водой. Вода стала красной. Он перевел

взгляд на свои руки и увидел, что под ногтями засохла темная, бурая корка. Он не знал, когда и где он испачкался.

Он поднес ладонь к лицу, вдохнул. Запах металла, смешанный с дубильным экстрактом. И — сладость. Та самая, тошнотворная сладость. Она была его. Она всегда была его.

Поезд набирал скорость. В висках стучало. За стенкой купе кто-то плакал, тихо, по-детски. Сергей зажал уши ладонями и закрыл глаза, но гул проникал сквозь кожу, сквозь кости, сквозь самую суть его существа.

Он был здесь. И назад дороги не было.

Глава 2. Проводница

Дверь за старухой закрылась не сразу — задержалась на мгновение в проеме, будто раздумывая, не вернуться ли, не добавить ли еще каплю этого приторного сочувствия. Щелкнул замок. И сразу стало тесно. Воздух в купе сделался густым, осязаемым, словно после ухода женщины осталось не пустое пространство, а ее слепок — сгорбленный, пахнущий нафталином и старой овчиной.

Сергей сидел неподвижно. Руки лежали на коленях — длинные пальцы, чистые ногти, белая, тонкая кожа с синеватыми прожилками. Хирургические руки. Так говорили покупатели. Руки мастера. Руки, которые знают, где проходит граница между эпидермисом и дермой, где нож входит легко, без усилий, одним точным движением. Сергей смотрел на них и не узнавал. Они дрожали. Мелкая, противная

дрожь пробегала по фалангам, заставляя подрагивать кончики пальцев. Он сжал их в кулаки. Костяшки побелели. Дрожь не прошла.

Взгляд упал на поднос. Чайник остывал, запотевший, с каплями воды, стекавшими по отбитому носику. Рядом — пиала с серой массой. Овсянка. Или то, что выдавало себя за овсянку. Поверхность каши покрылась тонкой пленкой, и в этой пленке, как в мутном зеркале, отражался потолок — темно-вишневый, бархатный, с подтеками, похожими на старые пятна. Сергей взял ложку. Металл обжег пальцы холодом, хотя чайник был теплым. Ложка вошла в кашу с чавкающим звуком, и из глубины поднялся запах — мясной, наваристый, с привкусом душистого перца, который он сам добавлял в фарш. Тот самый перец, от которого покупатели потом сходили с ума и бросались под колеса трамваев.

Ложка выпала из пальцев. Звякнула о пиалу. Сергей откинулся на спинку дивана и уставился в окно.

Там, за стеклом, продолжалось бешеное мельтешение. Красные и белые искры били в бронированное стекло, оставляя на мгновение светящиеся росчерки, похожие на нервные окончания. Иногда в этом хаосе проступали силуэты — металлические балки, порталы, кабельные плети толщиной с руку, обмотанные изолентой. Все это проносилось мимо с такой скоростью, что глаза отказывались фокусироваться, мозг переставал соединять куски в целое. Казалось, поезд летит не по рельсам, а по лезвию бритвы, рассекая пространство, и

за бортом — не земля, а какая-то иная субстанция, жидкая и раскаленная, как олово.

Внезапно мельтешение прекратилось. За окном повисла непроглядная чернота. Ни искр, ни проводов, ни света. Только чернота, плотная, тяжелая, давящая на стекло. И в этой черноте, словно проявленные кислотой, начали проступать лица. Сначала неясно, размыто, как пятна сырости на стене, потом четче. Лица девочек. Маленькие овалы, светлые волосы, банты и косички. Они проплывали мимо окон, прижимаясь к стеклу ладошками. Ладонки оставляли влажные следы на внешней стороне, будто изнутри. Рты открывались в беззвучном крике. Сергей зажмурился. Сжал веки так сильно, что перед глазами поплыли оранжевые пятна. Открыл снова — чернота была пустой.

Только глубоко внизу, там, где должны были быть шпалы, клубилось багровое зарево, похожее на отсвет огромного пожара. Отсвет шевелился, дышал, переливался, как живое пламя. Поезд шел над этим заревом, не приближаясь и не удаляясь. Расстояние сохранялось идеальное, точно вычисленное для того, чтобы пассажир видел все, но не мог коснуться.

Где-то в коридоре слышались шаги. Мягкие, неслышные, но Сергей уловил их внутренним чутьем — тем особым чувством, которое вырабатывается у того, кто привык ждать. Шаги приближались, остановились у двери. Замок щелкнул, и дверь отворилась без стука, без предупреждения.

На пороге стояла она. Старуха. Проводница. Анна — так она назвалась, хотя имени своего не произносила. В руках держала новый поднос, на этот раз с двумя стаканами в металлических подстаканниках. Пар поднимался над чаем тонкими, прозрачными струйками, пахло мятой и чем-то горьким, похожим на полынь. Она вошла без приглашения, шаркая туфлями, и поставила поднос на столик рядом с нетронутой кашей.

— Остыло, касатик, — сказала, кивая на пиалу. — Не годится. Сейчас новую принесу. А пока чайку попей. С мятой. Я всегда мяту завариваю, когда пассажиры нервничают.

Сергей молчал. Смотрел на ее лицо. Теперь, при свете тусклой лампы под потолком, черты проступали резче. Кожа казалась не живой, а выделанной — серой, с глубокими трещинами, будто ее много раз сушили и снова мочили. На скулах — темные пигментные пятна, неровные, асимметричные. Одно пятно имело форму, почти идеально повторяющую отпечаток мужской ладони. Левой руки. Сергей знал, как выглядят отпечатки. Он собирал их. Для точности.

— Сахар есть, — продолжала Анна, двигая по столу сахарницу с пожелтевшими кусками рафинада. — Меду, правда, нет. Мед кончился. На прошлой станции последнюю банку отдали. Мальчику. Там мальчик был, кашлял сильно. Мы всегда даем мед, когда дети. Это правильно.

Она говорила и говорила, и голос ее лился, как подгоревшее молоко — густой, с хрипотцой, с привкусом пепла. Сер-

гей смотрел на ее руки, лежащие на столе. Тонкие, скрюченные, с распухшими суставами. Кольца на пальцах — узкие серебряные ободки с черными камнями. Всего пять колец. По числу пальцев. На левой руке — перевернутый треугольник с чертой, на правой — круг, пересеченный тремя линиями. Символы. Система. Ему стало не по себе.

— Анна, — сказал он, и голос прозвучал глухо, будто из колодца. — Анна, вы знаете, что это за поезд?

Старуха подняла на него слезящиеся глаза. Взгляд был мутный, старческий, с бельмом на левом зрачке, но в глубине — странная ясность, острая, колючая, как игла.

— Знаю, касатик, — ответила. — Я здесь работаю. Сорок лет уже. Или больше. Время здесь не считают. Вы бы видели, какие пассажиры бывают... Одни плачут, другие поют. Третьи кричат, что ошиблись, что им не сюда. Но ты не кричишь. Ты молчишь. Это хорошо. Молчаливым легче.

Она взяла его руку своими сухими, холодными пальцами, и Сергея передернуло от прикосновения. Она погладила его ладонь, и по спине пробежал холод. Чужой холод. Нечеловеческий.

— Ты бы, Сереженька, не смотрел в окно, — сказала вдруг тихо, почти шепотом. — В окне правда, но ее лучше не видеть. Там все, что было. И все, чего не было. Там твои следы. Ты их оставлял везде. Даже там, где не ходил. Ты ведь помнишь?

Он дернул руку, вырываясь. Но пальцы старухи сжались

с неожиданной силой — стальной хваткой, не соответствующей хрупкой внешности. Кольца впились в кожу. Перевернутый треугольник оставил на запястье красную полосу, болезненную, горячую.

— Не надо, — прошептал Сергей. — Не надо меня трогать.

Анна разжала пальцы. Улыбнулась беззубо. Поправила черную косынку, под которой прятались жидкие, седые волосы, и отступила к двери.

— Как скажешь, — кивнула. — Только ты не думай, что я злая. Я добрая. Я всем добрая. Потому что вы все — мои дети. Даже те, кто... — Она запнулась, и в глазах мелькнула тень, похожая на страх. — Даже те, кто не заслужил. Мне велено всех любить. Я и люблю. По-матерински.

Она вышла. Дверь снова закрылась, и щелчок замка прозвучал, как вздох облегчения. Сергей остался один. На столе дымился чай. Мята смешивалась с полынью, и этот запах напоминал больницу. Или морг. Там тоже пахло мятой, когда привозили новых.

Он посмотрел на запястье. Там, где кольца оставили след, проступала краснота. Но не как от ссадины, а как узор — тот самый перевернутый треугольник с чертой. Татуировка. Она появилась прямо на коже, четкая, как отпечаток штампа. Сергей тер запястье рукавом, тер сильно, до боли, но рисунок не стирался. Он был внутри. Часть тела. Часть билета.

Поезд дернулся. Резко, сильно, так, что чай плеснулся че-

рез край стакана и потек по металлическому подстаканнику, шипя и испаряясь. За окном снова вспыхнул свет — сначала тусклый, серый, потом яркий, ослепительный. Поезд замедлял ход. Слышался скрежет тормозов — долгий, пронзительный, похожий на человеческий вопль. Сергей прижался к стеклу. За ним, за мелькающей завесой искр, проступала платформа. Белая, сияющая, утопающая в зелени. Деревья с белыми цветами, фонтаны, из которых била светящаяся вода, и чистое, без единого облачка, небо.

На платформе стояли люди. Мужчины и женщины. Молодые, улыбающиеся, с распахнутыми объятиями. И среди них — мальчики. Трое. Лет восьми или десяти. В синих шортах, белых рубашках, с портфелями в руках, с кепками, лихо сдвинутыми набок. Они смеялись, перекрикивались, бросали друг в друга портфелями. Такие живые, настоящие. Такие, какими никогда не были жертвы.

Поезд остановился. Двери со свистом открылись, выпуская теплый, сладковатый воздух. Запах цветущей акации и меда ворвался в вагон, смешиваясь с железным привкусом гула. Мальчики вбежали в поезд, галдя, толкаясь, и побежали по коридору мимо купе. Сергей проводил их взглядом. Один из них задержался у двери, посмотрел на Сергея. Светлые, прозрачные глаза. Взгляд спокойный, без страха, без укора. Просто смотрел, как смотрят на незнакомого взрослого в общественном транспорте.

— Дядя, — сказал мальчик, — а вы не выходите? Там хо-

рошо. Там пирожки с повидлом. И речка есть. Ловить рыбу можно.

Сергей открыл рот, но слова застряли в горле. Мальчик улыбнулся, подмигнул и побежал догонять товарищей. Их голоса стихли в конце вагона. А Сергей сидел и смотрел на пустой коридор. Руки его лежали на коленях. И он понял — он хочет выйти. Он хочет туда, на эту белую платформу, к пирожкам, к речке, к свету. Он хочет, чтобы и его кто-то ждал. Впервые за много лет.

Но поезд дернулся снова. Двери закрылись. Свистка не было. И состав, набирая скорость, рванулся вперед, оставляя белую станцию позади, превращая ее в крошечную светлую точку, а потом — в ничто.

— Я выйду, — сказал Сергей тихо, в пустоту. — На следующей выйду.

В коридоре громко засмеялись мальчики. Смех был звонкий, чистый. Сергей закрыл глаза. В темноте под веками снова поплыли лица. Те, что по ту сторону стекла. Те, кто навсегда остался в прошлом. И запах мяты, смешанной с кровью, заполнил купе, как вода заполняет тонущую лодку.

Глава 3. Первый круг

Станция исчезла, и вместе с ней растаял сладкий запах цветущей акации. Воздух в вагоне снова сделался тяжелым, металлическим, с примесью озона и старой пыли. Поезд набирал скорость, и гул нарастал — уже не фон, а пульсиру-

ющая вибрация, пронизывающая все тело, от пяток до макушки. Сергей сидел неподвижно, слушая, как стучат колеса. Стук казался ритмичным, почти музыкальным: *тук-тук-тук-тук*. И в этом ритме угадывались слоги. Слова. *Те-бе-не-быть. Те-бе-не-быть.*

Он помотал головой. Наваждение. Просто усталость, просто бессонница. Сколько он уже не спал? Сутки? Двое? Время в этом поезде текло иначе — липко, медленно, как смола, тянущаяся за пальцами. Часов на стенах не было. Окон с пейзажем — тоже. Только бешеное мельтешение искр и лиц. Всегда лиц.

За стенкой купе слышались голоса. Мальчики, зашедшие на той станции, расселись где-то рядом, смеялись, перешептывались. Иногда доносились отдельные фразы: «А помнишь, как мы в речку?» или «Мама сказала, чтобы я не бежал». Детские голоса, живые, настоящие, с хрипотцой и притворной серьезностью. Сергей закрыл глаза и представил, как выглядит это купе. Светлое, с желтыми занавесками. На столике — ваза с полевыми цветами. Ромашки. Васильки. Те, что растут у железной дороги, в пыли, но все равно яркие, голубые, такие, что глазам больно.

Он открыл глаза. Перед ним — темно-вишневый бархат, тусклая лампа, пустой стакан с засохшим на стенках чаем. Тишина. Только гул. И стук колес. *Те-бе-не-быть.*

Сергей встал. Ноги затекли, икры сводило судорогой, но он пересилил боль и шагнул к двери. Замок поддался лег-

ко, с маслянистым щелчком. Коридор был узким, устланным вытертой ковровой дорожкой бордового цвета с выцветшим орнаментом. Лампочки под потолком горели вполнакала, создавая полумрак, в котором тени по стенам шевелились сами по себе, независимо от движения. Сергей прошел мимо двух закрытых дверей, прислушиваясь. Из-за первой доносился плач. Негромкий, надрывный, женский. Из-за второй — тишина. Абсолютная, вакуумная, давящая на уши.

Он остановился у окна в тамбуре. Окно было матовым, покрытым сеткой мелких трещин, будто в него кто-то бился головой. Сергей приложил ладонь к стеклу. Под пальцами — холод. Ледяной, неестественный, проникающий в кости. Но за стеклом — не чернота и не свет, а серое, клубящееся марево, похожее на туман. В этом тумане иногда вспыхивали огни — дальние, неясные, похожие на фонари в густом смоге.

— Дядя, а вы куда?

Голос раздался сзади. Сергей обернулся. В коридоре стоял мальчик. Тот самый, который задерживался у двери купе. Светлые волосы, кепка сдвинута набекрень, в руках портфель, украшенный наклейками с динозаврами. Лицо круглое, румяное, с чуть вздернутым носом и ясными, светло-голубыми глазами. Такими ясными, что в них можно было увидеть свое отражение — темное, искаженное, чужое.

— Я не знаю, — ответил Сергей. Голос прозвучал хрипло, с надрывом. Он кашлянул, прочищая горло. — Я просто

гуляю.

Мальчик кивнул, будто это был самый нормальный ответ в мире. Подошел ближе и тоже прижался носом к стеклу тамбура. Его дыхание оставило на матовой поверхности маленькое мутное пятно.

— А мне нравится здесь, — сказал мальчик. — Здесь быстро. И людей много. На той станции мы с ребятами ловили рыбу. Ну, не настоящую, а игрушечную. Но мама сказала, что настоящая — в речке, которая в конце пути. Там, где мы выйдем. Вы тоже выйдете в конце? Или раньше?

Сергей молчал. Смотрел на мальчика и не мог оторваться. Почему-то хотелось коснуться его, провести рукой по светлым волосам. Не так, как раньше. Не с тем чувством. А просто — чтобы убедиться, что он настоящий. Теплый. Живой.

— Я выйду на следующей, — сказал наконец Сергей. — На следующей обязательно выйду.

Мальчик улыбнулся. Широко, по-детски, открыто, обнажая молочные зубы с щербинкой между передними.

— А мы еще далеко. Нам сказали — только после темноты. Когда зажгутся все фонари. Тогда и выход. А пока мы играем. Хотите с нами? Мы в города играем и в загадки.

— Нет, — ответил Сергей слишком резко. Мальчик на мгновение смутился, но быстро взял себя в руки и пожал плечами.

— Ну, как хотите. Мы в пятом купе. Если надумаете — приходите. У нас там весело.

Он развернулся и побежал по коридору, шлепая сандалиями по ковровой дорожке. Сандалии были белые, новые, с пряжками в виде бабочек. Сергей проводил его взглядом. Рука сжалась в кулак. Ногти впились в ладонь. Знакомо. До боли знакомо.

Он вернулся в купе и сел на диван. Голова гудела. Пульс стучал в висках тяжелыми, глухими ударами, и каждый удар приносил с собой образ. Отрывок. Воспоминание.

Подвал. Лампочка без абажура — шестьдесят ватт, желтый свет, пахнет горелым. Стол из нержавеющей стали, широкий, удобный. Инструменты: скальпели, ножи для снятия шкур, зажимы. И — она. Девочка. Примерно такого же возраста, как этот мальчик. С бантом в волосах. С портфелем в руках, который она не выпускала до самого конца. Он помнил все. Каждый миг. Как она вошла в его магазинчик за колбасой для бабушки. Как он предложил помочь донести тяжелую сумку. Как она улыбнулась, доверчиво, светло, и пошла за ним в подсобку, даже не оглянувшись.

— Я не хочу это помнить, — прошептал Сергей. — Не хочу.

Но память не слушалась. Она лилась через край, затопляя сознание, как вода затопляет трюм. Звон скальпеля о металл. Влажный, тягучий звук, с которым кожа отделяется от мышц. Пахло железом и сладостью. Всегда сладостью. Потом — мясорубка. Крупная, промышленная, с широкой горловиной. Мясо входило в нее с чавканьем, и на выходе по-

лучался фарш — однородный, розовый, с мелкими белыми прожилками жира. Он добавлял перец. И мускатный орех. Немного. Для аромата.

— Перестань! — крикнул он вслух.

Крик отскочил от бархатных стен и вернулся глухим эхом. За стенкой на мгновение стихли голоса мальчиков, потом зашептались снова, настороженно. Сергей прижал ладони к ушам. Давил, сильно, до звона в голове.

Он не знал, сколько сидел так. Минуты. Часы. Гул поезда не менялся. Свет лампы не мерцал. Время застыло. И вдруг — голос. Из коридора. Женский, но не старушечий, а молодой, звучный, с бархатными нотами. Кто-то пел. Тихо, под нос, но мелодия доносилась сквозь щели.

Сергей поднял голову. Отнял ладони от ушей. Слушал. Мелодия была старой, довоенной, с грустными оборотами. «Утомленное солнце нежно с морем прощалось...» Он знал эту песню. Мать напевала ее, когда стирала белье в тазу, и мыльная вода стекала по локтям, оставляя белые следы. Он маленький, сидит на табуретке и смотрит, как мама крутит руками, как пена взбивается на поверхности. Кухня пахнет хозяйственным мылом и щами. Тепло. Безопасно.

— Мама, — прошептал Сергей, не понимая, зачем это говорит.

Пение стихло. В коридоре слышались шаги — легкие, почти невесомые. Кто-то прошел мимо его двери, но не остановился. Сергей встал, сделал шаг, открыл дверь. Коридор

был пуст. Только в конце, у тамбура, мелькнула темная юбка. И запах — полыни и мяты. Проводница.

Он шагнул за ней, быстрее, почти бегом. Но, когда он достиг тамбура, там никого не было. Только окно с трещинами и за ним — серое марево, которое вдруг начало расступаться. В мареве проступали очертания. Знакомые. Очертания его магазинчика. Фасад с вывеской «Колбасы и деликатесы. Домашняя продукция», витрина с сияющими колбасными батонами, аккуратно уложенными на подносах, и — фигура. Его собственная фигура, стоящая у входа, в белом халате, с ножом в руке. На ноже что-то блестит. Кровь. Или соус.

Сергей отшатнулся. Стукнулся спиной о стену тамбура. Дыхание сбилось, сердце колотилось где-то в горле, мешая дышать. Он смотрел на свое отражение в матовом стекле и не узнавал себя. Человек в белом халате улыбался. Той самой улыбкой, которой он всегда улыбался покупателям. Доброй, немного смущенной, чуть застенчивой. «Спрашивайте, не стесняйтесь. Мясо свежее. Мы сами проверяем качество».

— Нет, — выдохнул Сергей. — Этого не было.

Он зажмурился. Сильно, до звездочек под веками. Открыл. Марево снова было серым и пустым. Магазин исчез. Остался только тамбур, холод, и запах металла, проникающий в каждую клетку.

Из-за спины послышался голос. Снова старуха.

— Выходить хочешь, касатик? — Анна стояла в коридо-

ре, сложив руки на животе. Серые пальцы с кольцами переплелись, и в этом жесте угадывалась молитва. Или мольба. — Не выходи. Рано тебе. Ты еще не готов.

— Готов, — выдавил он из себя. — Я готов. Я выйду. Я не хочу здесь оставаться. Я не хочу видеть это.

Она покачала головой. Черная косынка качнулась, и из-под нее выпала седая прядь, упавшая на щеку.

— Ты думаешь, станция — это дверь? — спросила она тихо. — Нет, Сереженька. Станция — это ключ. А ключ дают только тем, кто знает, что открывать. Ты знаешь, что у тебя за дверью?

Он молчал. Губы пересохли, слова не шли. Он знал. Знал наверняка. За дверью — подвал. Лампочка. Стол. Инструменты. И пустота. Вечная, звенящая пустота, которую он сам заполнил, создавая иллюзию жизни из того, что было живым.

— Дай мне выйти, — попросил он. Впервые за долгие годы в голосе прозвучала мольба. Настоящая, детская, беззащитная.

Анна смотрела на него долго, пристально. В ее слезящихся глазах мелькнула странная искра — не жалость, не укор, а что-то похожее на узнавание.

— Нет, — сказала она. — Ты выйдешь в конце. Как все. А пока — сиди в купе. И не смотри в окно. Я ведь говорила. Не надо смотреть.

Она развернулась и ушла, шаркая туфлями по ковровой

дорожке. Шаги затихли в глубине вагона. Сергей остался стоять в тамбуре, прижавшись лбом к холодному стеклу. За стеклом — серое море. И в этом море — лица. Снова лица. Маленькие, с бантами, с косичками. Они улыбались. И махали ему ручками. Прощаясь. Или приветствуя.

Поезд дернулся. Гул стал громче. И в этом гуле Сергеем слышалось: *при-вет, при-вет, при-вет.*

Он закрыл глаза и заплакал. Впервые с тех пор, как перестал быть человеком.

Глава 4. Темптер

Слезы высохли быстро. Глаза защипало, веки налились тяжестью, но внутри, в груди, образовалась пустота — звонкая, чистая, бездонная. Сергей стоял в тамбуре, прижавшись лбом к холодному стеклу, и чувствовал, как эта пустота разрастается, заполняя собой все, что было раньше. Страх, отращивание, желание выйти — все ушло. Осталось только пустое место. И гул. Ритмичный, монотонный гул колес.

Он вернулся в купе, сел на диван, сложил руки на коленях. Пальцы больше не дрожали. Только под ногтями все еще темнела та самая корка, которую он не мог оттереть. Он смотрел на нее, и она казалась ему частью его самого — въевшейся, неотделимой, как родимое пятно.

Дверь открылась без стука.

На пороге стоял мужчина. Молодой, лет тридцати, с гладко зачесанными назад русыми волосами и острой, аккурат-

ной бородкой, подстриженной по контуру челюсти. Костюм — темно-синий, дорогой, с тонкой белой полоской, идеально сидящий по фигуре. На воротнике — золотая булавка в виде змеи с рубиновым глазом. В руках — шляпа, мягкая, фетровая, которую он держал двумя пальцами, словно боялся испачкать. Улыбка — безупречная, с голливудским блеском, но глаза — холодные, серые, с вертикальным зрачком. Или это просто игра света?

— Простите за вторжение, — сказал мужчина, и голос его звучал как струна — бархатный, с легкой хрипотцой, располагающий к доверию. — Меня зовут Темптер. Я ваш сосед по вагону. Увидел открытую дверь и решил представиться. Вы не против?

Сергей молчал. Смотрел на него и не мог отвести взгляд. Что-то в этом лице было знакомым. Не черты, не улыбка — общее ощущение. Будто он уже встречал этого человека. Будто тот стоял рядом в самые важные моменты жизни. Всегда рядом. За спиной.

Темптер вошел в купе без приглашения, сел напротив, положил шляпу на столик. Жесты его были плавными, почти танцевальными — каждое движение выверено, отточено, как у артиста на сцене. Он взглянул на нетронутый чай, на остывшую кашу, на пустой стакан с засохшей пленкой на стенках, и понимающе кивнул.

— Не понравилось угощение, — сказал он, и это прозвучало не как вопрос, а как утверждение. — Я понимаю. Анна

старается, но у нее не всегда получается. У нее руки трясутся. Она боится уронить поднос, поэтому солит больше, чем нужно. И перец добавляет. Все хочется, чтобы пассажиры чувствовали себя как дома. Но дома у всех разные.

Сергей нахмурился. Слова лились легко, естественно, и в этой легкости таилась какая-то опасность. Как в сиропе, который слишком сладок, чтобы быть настоящим.

— Кто вы? — спросил Сергей. Голос звучал глухо, с хрипотцой, будто он долго не говорил. — Темптер — это имя или должность?

Мужчина улыбнулся. Улыбка стала шире, но глаза остались прежними — холодными, изучающими. В них не было ни тепла, ни дружелюбия, только любопытство. Любопытство, с каким смотрят на насекомое, застывшее в янтаре.

— И то, и другое, — ответил он. — Имя — Темптер. А должность... Ну, скажем так, я помогаю людям принимать решения. Трудные решения. Те, которые они не могут принять сами. Я как... советник. Без корыстных целей. Просто люблю наблюдать, как раскрываются человеческие души. Это красиво. Как бутон. Или как кожа, которую снимают с тушки. Знаете, есть в этом что-то завораживающее.

Сергей вздрогнул. Слово «кожа» прозвучало как пощечина. Он впился взглядом в лицо Темптера, пытаясь понять — случайность или знание. Но лицо оставалось непроницаемым. Только тень — длинная, неестественная — скользнула по стене за спиной мужчины, и в этой тени на мгновение

проступили очертания рогов. Сергей моргнул — тень стала обычной.

— Что вам нужно? — спросил он тихо.

Темптер наклонился вперед, опершись локтями о столик. Пальцы его — длинные, тонкие, с аккуратными овальными ногтями — сложились в замок. Кожа на пальцах была бледной, почти прозрачной, и сквозь нее просвечивали голубоватые вены, пульсирующие в такт сердцебиению, которого не было слышно.

— Мне нужно немного вашего времени, — сказал он доверительно. — И немножко вашей памяти. Я хочу предложить вам игру. Совсем простую. Карты. Покер, если хотите. Без денег. Только на интерес. Вы когда-нибудь играли в покер, Сергей Александрович?

Имя. Свое полное имя. Он не называл его проводнице. Он вообще никому его не называл. Сердце дернулось, пропустило удар. Сергей открыл рот, чтобы спросить, откуда Темптер знает, но вопрос застрял в горле. Вместо этого он сказал:

— Нет. Я не играю в азартные игры.

Темптер рассмеялся. Тихий, мелодичный смех, похожий на звон хрустальных бокалов. Он откинулся на спинку дивана и вытянул ноги — длинные, в начищенных до зеркального блеска туфлях. Носки туфель были острыми, почти как кинжалы.

— Азарт здесь ни при чем, — сказал он. — Я предлагаю вам не деньги, а воспоминания. Одно воспоминание, кото-

рое вы хотите забыть. Взамен на что-то приятное. Чай. Хороший, с бергамотом. Или покой. Просто тишина в голове. Вы же хотите тишины? Дайте мне одно воспоминание — и я дам вам час покоя. Честно. Без обмана.

Он вытащил из внутреннего кармана пиджака колоду карт. Карты были старыми, с потертыми краями, но рисунок на них был странным — вместо королей и дам на картах красовались лица. Знакомые лица. Сергей узнал их. Те, что он видел в окне. Те, что уходили по светлой лестнице. Те, что остались навсегда в его подвале.

— Вы... — начал Сергей, но не договорил. Темптер уже тасовал колоду. Карты летали в его пальцах, сливаясь в сплошную белую ленту, и в этом движении было что-то гипнотическое, завораживающее.

— Не бойтесь, — сказал Темптер, и голос его стал мягче, почти ласковым. — Это просто игра. Выберите карту. Любую. Я угадаю, какая. Если угадаю — вы отдаете мне одно воспоминание. Если нет — я даю вам что хотите. Хотите — выход на следующей станции? Хотите — новую жизнь? Хотите — чтобы все эти лица исчезли из окон?

Он разложил карты веером на столике. Рубашки карт были одинаковыми — черными, с серебряной каймой. Но Сергей знал: на каждой из них — лицо. Его прошлое. Его жертвы. Его грехи. Они смотрели на него с картонных прямоугольников, и в их глазах не было ни злобы, ни страха. Только тихая, спокойная печаль.

— Я не хочу играть, — сказал Сергей, отводя взгляд.

— Конечно, не хотите, — согласился Темптер. — Но вы будете. Потому что вам интересно. Потому что вы всегда хотели знать, что будет, если выбрать не, то. Вы ведь всегда выбирали. Каждый раз. Выбирали, что делать с кожей. Что делать с мясом. Что делать с теми, кто доверял. Выбор — это ваша природа. Не отказывайтесь от себя.

Сергей поднял глаза. Взгляд Темптера стал глубже, в зрачках заплясали крошечные огоньки — красные, как угли. От мужчины пахло не одеколоном, не потом, а чем-то сладковатым, дымным. Ладан. Или сандал.

— Выберите карту, — повторил Темптер.

Рука Сергея потянулась к вееру сама собой. Пальцы дрожали. Он коснулся одной из карт — и почувствовал тепло, исходящее от нее. Живое тепло. Карта сама легла в ладонь, прилипла к коже, будто была влажной. Сергей перевернул ее.

На карте была женщина. Молодая, с длинными темными волосами и большими карими глазами. Она смотрела на него из прошлого, и он знал это лицо. Он помнил, как она зашла в его магазин в день рождения дочери. Помнил, как предложил ей попробовать новую колбасу. Помнил, как она улыбнулась и взяла кусочек, откусила, и глаза ее расширились от восторга. «Боже, какая вкуснятина! Я куплю килограмм. И еще для мамы». А потом он принес ей еще один кусочек, с добавкой. И она упала. Медленно. Бесшумно. Он поймал ее, отнес в подсобку. И тогда, разделявая ее тело, он обратил

внимание на кожу. Гладкая, эластичная, без единого изъёма. Из такой кожи получались лучшие перчатки. Он сделал три пары. Продал в соседний ювелирный магазин. Никто не спросил, откуда.

— Это... — прошептал Сергей. — Это Алина. Она пришла на день рождения дочери.

— Я знаю, — сказал Темптер тихо. — Я все знаю. И эта карта — ваша. Вы проиграли, Сергей Александрович.

Сергей поднял глаза. Темптер сидел, сложив руки на столе, и улыбался. В улыбке не было злорадства. Только понимание.

— Вы не называли правил, — произнес Сергей. — Вы сказали, что угадаете карту. Но вы не угадали. Вы просто показали мне ее.

— Я и не должен был угадывать, — ответил Темптер. — Правила были простые: вы выбираете карту, и мы смотрим, что на ней. А на ней — ваше воспоминание. Теперь оно мое.

Сергей посмотрел на свою руку. Карта исчезла. И вместе с ней — часть памяти. Он пытался вспомнить лицо той женщины. Алины. Как она улыбалась. Как она говорила. Но в голове была только дымка. Белый шум. Пустота.

— Что вы сделали? — спросил он, и голос сорвался.

— Забрал у вас боль, — мягко ответил Темптер. — Вы же хотели забыть. Вот я и помог. Немного. Только этот кусочек. Теперь вы не будете мучиться воспоминаниями о ней. Она перестала быть вашей. Она просто... ушла. Вы чувству-

ете облегчение?

Сергей прислушался к себе. В груди было пусто. Не та звонкая пустота, которая появилась после слез, а другая — глухая, ватная. Он пытался вызвать в памяти лицо Алины, но видел только размытое пятно, как на старой фотографии, которую залили водой. Она была. И ее нет.

— Это... неправильно, — сказал он. — Я должен помнить. Я должен...

— Зачем? — перебил Темптер. — Чтобы страдать? Чтобы ненавидеть себя? Это бесполезно, Сергей Александрович. Боль не делает людей лучше. Она делает их слабее. Я предлагаю вам избавиться от боли. По кусочку. По карте. У вас там еще много. Можете играть со мной до самого конца пути. И когда мы приедем, у вас не останется ни одного тяжелого воспоминания. Вы будете чистым, как ребенок. Вы этого хотите?

Сергей молчал. Смотрел на колоду, лежащую на столике. Карты манили. От них исходил теплый, уютный свет, обещающий покой, забвение, свободу. Всего одна игра. Одна карта. И снова пустота, тишина, никакой боли.

— Что я должен сделать? — спросил он.

Темптер улыбнулся. Взял колоду и начал тасовать снова. Карты шуршали, как сухие листья.

— Просто выберите. Потом еще одну. И еще. А когда колода кончится, вы будете свободны. Обещаю.

Рука Сергея потянулась к картам. Пальцы коснулись шер-

шавой поверхности, и в этот момент за стенкой купе раздался звонкий детский смех. Мальчики. Трое. Они смеялись, галдели, перекрикивали друг друга. И в этом смехе было столько жизни, столько настоящего, невыдуманного счастья, что Сергей замер.

Он посмотрел на свои пальцы, сжимающие колоду. На черные рубашки с серебряной каймой. На холодные глаза Темптера, которые стали чуть шире, чуть внимательнее.

— Я не буду, — сказал Сергей. Отпустил карты. Те упали на столик, рассыпавшись веером, и в этом веере снова мелькнули лица. Алина. Девочка с бантом. Мальчик в кепке. Все они смотрели на него, и в их глазах не было укора.

— Не буду, — повторил он тверже.

— Жаль, — сказал он. — Такая интересная игра могла бы получиться. Но я понимаю. Вам нужно время. Не хотите сейчас — придете позже. Дверь всегда открыта. Я в третьем купе. Только стукните.

Он встал, поправил пиджак, надвинул шляпу на глаза. В дверях обернулся.

— Знаете, Сергей Александрович, — сказал он, — вы первый, кто отказался. За все время. И знаете, что я вам скажу? Это ничего не меняет. Абсолютно ничего. Вы все равно вспомните все. В конце. Там, где нет игры. И не будет карт.

Он вышел. Дверь закрылась, но Сергей слышал его шаги в коридоре — легкие, почти неслышные. Шаги затихли. И снова остался только гул колес. И стук. *Те-бе-не-быть. Те-*

бе-не-быть.

Сергей посмотрел на столик. Колода исчезла. Только стаканы, остывший чай и пустая пиала. И в этой пустоте, на самом дне пиалы, лежал маленький кусочек кожи. Светло-розовый, мягкий, с тонкими порами. Он взял его в руки и понял — это кожа женщины по имени Алина. Она осталась. А воспоминание ушло.

Он сжал кусочек в кулаке и заплакал снова. Но слез почти не было — только судорога в горле и жгучая пустота в груди. Поезд летел в никуда. И остановки не предвиделось.

Глава 5. Окна поезда

Кусочек кожи лежал на ладони — маленький, почти невесомый, с едва заметным рисунком пор. Сергей смотрел на него и не мог оторваться. Розоватый оттенок, мягкость на ощупь, тепло, которого не должно было быть в мертвой ткани. Он поднес ладонь к лицу, вдохнул. Запах — дубильный, с легкой кислинкой, как у хорошо выделанной замши. Свой запах. Пальцы сжались, и кожа смялась, собралась в складки, точно живая. Он положил ее в карман пиджака и отвернулся к окну.

За стеклом уже не было ни лиц, ни марева. Только бесконечная чернота, в которой иногда вспыхивали искры — белые, холодные, похожие на снежинки, летящие в обратную сторону. Поезд мчался по пустоте, не оставляя следов, и казалось, что состав парит над пропастью, в которой нет ни дна,

ни края. Гул колес изменился — стал выше, напряженнее, как струна, натянутая до предела. Сергей прижался лбом к стеклу. Лоб обожгло холодом. Холод проник в череп, застыл где-то в глубине, и от этого мысли сделались ясными, как лед.

Он попытался вспомнить Алину. Женщину с карты. Темные волосы, карие глаза, улыбка. Как она зашла в магазин. Как взяла колбасу. Как упала. Он помнил это все — факты, последовательность, хронологию. Но не помнил ее лица. Только размытое пятно, как на негативе, который долго держали на свету. Он помнил, что она была красивой. Но не помнил, что именно делало ее красивой. Пустота. Гладкая, ровная пустота, без шероховатостей.

Сергей закрыл глаза. И сразу же — вспышка.

Он стоял у станка. В подвале. Лампочка раскалилась добела, и от нее шел жар — нестерпимый, сухой. Руки в перчатках, мокрых от крови. На столе — тело. Девочка. С бантом. Он знал ее имя, но оно ускользало, как вода сквозь пальцы. Где-то сверху доносился звонок телефона. Он не отвечал. Он резал. Скальпель входил в кожу легко, с тихим свистом, и она расступалась, как масло, обнажая мышцы — розовые, с белыми прожилками жира. Пахло железом и сладостью. Он сосредоточенно работал, не глядя на лицо. Не глядя на глаза. Только на кожу. Только на швы. Кожа была ровной, чистой, без рубцов. Идеальной. Из такой кожи можно было сделать что угодно. Барсетку. Обложку для паспорта.

Ремешок для часов. Он выбирал ремешок. Аккуратно вырезал полосу нужной ширины, обработал края, нанес крем. А потом — звук. Звонок телефона. Он поднял трубку, и голос жены сказал: «Сережа, когда ты будешь? У нас гости. Твоя мама приехала». Он ответил: «Я скоро. Еще полчаса». И посмотрел на то, что осталось от девочки. Осталось немного. Мясо. Кости. Он завернул все в пленку и убрал в холодильник. Завтра будет фарш. С перцем. С мускатным орехом.

Сергей открыл глаза. Лоб мокрый от пота. Стекло запотело, и на влажной поверхности проступил отпечаток его лба — странный, неестественно четкий, будто вырезанный резцом. Он вытер ладонью. Отпечаток исчез. Но внутри, в груди, осталась дрожь — мелкая, противная, как озноб перед болезнью.

За стенкой снова слышались голоса. Те же мальчики. Они о чем-то спорили, перебивая друг друга, потом смеялись. Сергей сглотнул. Ком в горле, твердый, колючий, мешал дышать. Он встал и вышел в коридор. Ноги несли его сами — к тамбуру, к окну, к тому самому матовому стеклу, за которым он видел свое отражение. Но сейчас стекло было чистым, прозрачным, и за ним открывался не пейзаж — а комната. Маленькая, уютная, с занавесками в цветочек и столом, накрытым к ужину. На столе — супница, тарелки, ложки. За столом сидела женщина. Сергей замер. Это была его мать. Та, которую он не видел двадцать лет, с тех пор как она умерла. Она сидела с прямой спиной, в своем любимом

платье с мелкими белыми горошинами, и разливала суп по тарелкам. Рядом — пустой стул. Ее руки двигались привычно, спокойно, будто она ждала кого-то. И Сергей понял: она ждет его. Сейчас она поднимет голову, увидит его в окне, улыбнется и скажет: «Сереза, садись, суп остывает».

Но она не подняла головы. Она продолжала наливать суп в тарелку, и пар струился над ложкой, таял в воздухе. А потом изображение начало меркнуть, как гаснущий кинескоп, и на месте кухни снова появилась чернота. Только голос матери остался. Тихий, отдаленный, как эхо в горах. «Сереза, почему ты не пришел? Мы так ждали».

Сергей отшатнулся от стекла. Ударился спиной о стену, сполз по ней, сел на пол тамбура. Дыхание сбилось, сердце колотилось где-то в горле, мешая дышать. Он сжал голову руками, вцепился пальцами в волосы, дернул сильно, до боли. Боль помогла. Она отрезвила, привела в чувство. И в голове зазвучал голос проводницы: «Не смотри в окно, Серезенька. Не надо смотреть».

— А что мне еще делать? — прошептал он в пустоту. — Что мне еще делать, если везде — я?

Ответа не было. Только гул колес, который вдруг стал тише, а потом и вовсе затих. Поезд замедлялся. Сергей поднялся, прижался лицом к стеклу. Теперь за ним была станция. Не белая, не светлая, а серая, бетонная, с колоннами, обшарпанными до голого камня. На платформе стояли люди. Молодые, старые, мужчины и женщины. Все они держали в

руках чемоданы и сумки, и на лицах у всех было одно выражение — ожидание. Они ждали. Смотрели на приближающийся поезд, и в их взглядах не было ни радости, ни страха. Только тихая, покорная надежда. Надежда на то, что этот поезд привезет их туда, куда нужно.

Двери открылись с шипением, выпуская внутрь воздух — холодный, влажный, с запахом бетона и старой пыли. Люди вошли в вагон. Медленно, неторопливо, будто у них было много времени. Они проходили мимо Сергея, но никто не смотрел на него. Никто не кивал, не здоровался. Они шли по коридору, и их шаги были беззвучными — словно они ступали не по ковровой дорожке, а по чему-то мягкому, вязкому, что не издавало звука. Сергей проводил их взглядом. Среди них была девушка. Молодая, в легком платье, с распущенными волосами. Она несла в руках букет полевых цветов — ромашки, васильки, что-то желтое, похожее на лютики. И когда она проходила мимо, он узнал ее. Это была та самая Алина. Его жертва. Она шла прямо по коридору, но не оглядывалась. И лицо ее было спокойным, даже счастливым. Будто она шла на свидание.

— Алина! — крикнул Сергей. Голос сорвался, прозвучал хрипло, как карканье. — Алина, постой!

Девушка остановилась. Медленно повернулась. Посмотрела на него. И в ее взгляде не было узнавания. Ни злобы, ни страха, ни прощения. Только пустота. Такая же пустота, как у него в голове после игры с Темптером.

— Вы ко мне? — спросила она. Голос был мягким, приятным, с легкой хрипотцой. — Я вас не знаю.

Она улыбнулась. Но улыбка была не его. Не для него. Она улыбалась кому-то, кого Сергей не видел. И в этой улыбке было столько жизни, столько тепла, что он почувствовал, как земля уходит из-под ног.

— Это я, — сказал он, шагнув к ней. — Это я... я тот, кто...

Он не договорил. Девушка повернулась и пошла дальше по коридору. Букет полевых цветов колыхался в ее руках, и лепестки ромашек падали на пол, оставляя за ней белую дорожку. Сергей хотел броситься за ней, схватить ее за руку, сказать ей все. Но ноги не слушались. Они приросли к полу. Он стоял и смотрел, как она входит в купе, как дверь за ней закрывается, и как свет из-под двери гаснет, как в комнате, где кто-то выключил лампу.

Он остался один в коридоре. Только гул колес, снова набирающих скорость. И лица за окном. Они появлялись и исчезали, как кадры старого кино. Девочка с бантом. Мальчик в шортах. Молодая женщина с букетом. И среди них — он сам. Его собственное лицо, искаженное гримасой ужаса. Он смотрел на свое отражение в стекле и не понимал, это он снаружи или внутри. Или он вообще везде. В каждом окне. В каждой станции. В каждом пассажире.

— Милый, ты чего тут стоишь?

Голос проводницы. Она стояла за его спиной, в своей

черной косынке, сжимая в руках метелку для пыли. Сергей обернулся. Ее лицо было странно мягким, почти ласковым. В глазах — та же жалость, что и в первый раз. От жалости захотелось ударить ее. Ударить и убежать. Но он только покачал головой.

— Я видел ее, — сказал он. — Она вышла. Она прошла мимо меня.

Анна вздохнула. Поправила косынку, провела сухой рукой по лицу, и лицо ее на мгновение изменилось — стало моложе, чище, без морщин. Всего на мгновение. Потом снова вернулась та же старая, побитая женщина.

— Ты не ее видел, Сереженька, — сказала она тихо. — Ты видел ее память. То, что ты забрал. А теперь она живет в поезде. Она едет к своей станции. И ей не нужно твое прощание. Ей вообще ничего от тебя не нужно. Ты для нее чужой. Пустой. Никто.

Она провела метелкой по полу, собирая белые лепестки ромашек. Сергей смотрел на них и не верил своим глазам. Лепестки были настоящими. Они пахли летом, теплом, полем. Он нагнулся и поднял один. Белый, мягкий, с желтой сердцевинкой, сохранившей каплю утренней росы. Он спрятал его в карман, рядом с кусочком кожи. И почувствовал, как что-то внутри него начинает меняться. Что-то, чему он не мог дать имени.

— Есть еще станции? — спросил он.

Анна кивнула.

— Много. Еще много. Ты только не смотри в окна, когда они открыты. И не ищи их. Они сами тебя найдут. Все они. Каждый. До последнего.

Она развернулась и ушла, оставляя за собой запах нафталина и полыни. Сергей остался стоять в коридоре. Гул колес снова нарастал, и в этом гуле он слышал свое имя. Но не как проклятие. Как молитву.

Он пошел обратно в купе. Сел. Закрыв глаза. Попытаться не видеть. Но за веками снова была картинка. Подвал. Лампочка. Стол. И она. Та, что прошла мимо с букетом, но не узнала его. И впервые за долгие годы Сергей Александрович понял — он хочет, чтобы его узнали. Чтобы его кто-то вспомнил. Даже если для этого нужно снова пережить все свои грехи. Все до одного. От первой до последней капли крови.

Глава 6. Михаил

Дверь открылась без стука, но шагов Сергей не услышал. Только легкое движение воздуха, колыхнувшее занавеску на окне, и запах — сухой, травяной, как от сена, нагретого солнцем. Он поднял голову. На пороге стоял высокий мужчина в мешковатой одежде из серой, грубой ткани, похожей на дерюгу. Лицо его было изрезано морщинами, как старая карта, но глаза — светло-голубые, почти прозрачные — светились изнутри мягким, теплым светом. В руках он держал глиняную кружку, из которой поднимался пар с запахом ромашки

и меда.

— Можно? — спросил мужчина. Голос низкий, спокойный, с легкой хрипотцой.

Сергей кивнул. Внутри все сжалось — не от страха, от странного узнавания. Будто он ждал этого человека. Знал, что тот придет. Мужчина вошел, сел напротив, поставил кружку на столик. Движения его были медленными, тяжелыми, как у крестьянина, возвращающегося с поля. От него пахло землей, мятой и еще чем-то неуловимым — чистотой. Не больничной стерильностью, а той, что бывает после сильного дождя, когда воздух становится прозрачным до звона.

— Я Михаил, — представился он, и голос его прозвучал просто, без пафоса, будто он называл имя соседа по лестничной клетке. — Я в третьем купе. Рядом с тем... ну, который в шляпе. Слышал, вы с ним беседовали. Решил зайти. У вас вид уставший.

Сергей смотрел на него и молчал. Слова не шли — горло пересохло, язык стал ватным. Он попытался сделать глоток — слюны не было. Михаил подвинул кружку ближе.

— Пей, — сказал он. — Ромашка. С медом. Я всегда такую завариваю, когда вижу, что человеку плохо. Или, когда самому плохо. Помогает.

Сергей взял кружку. Глина была теплой, шершавой, с неровными краями — ручная работа, не фабричная. Он поднес к губам, сделал глоток. Тепло разлилось по телу, мягкое, успокаивающее, как материнские руки. Ромашка, мед

и что-то еще — терпкое, чуть горьковатое, похожее на полынь, но без горечи. Он выпил до дна. Поставил кружку на стол. И вдруг почувствовал, как в груди отпускает. Та пустота, что жила внутри после разговора с Темптером, начала заполняться. Не воспоминаниями — теплом. Светом. И тишиной.

— Спасибо, — сказал он. Голос хрипел, но слова вышли. — Откуда вы знаете, что мне плохо?

Михаил усмехнулся. Усмешка была горьковатой, беззлобной. Он потер переносицу широкой ладонью с натруженными пальцами.

— А ты посмотри на себя, — ответил он. — Сидишь, как в воду опущенный. Глаза красные. Руки трясутся. И этот ваш сосед... ну, который в шляпе. Я слышал, как он карты тасовал. У него всегда так — когда кто-то рядом, у кого душа болит, он сразу тут как тут. С колодой. И с улыбочкой. Я таких знаю. Умные, красивые, слова льются как мед. А забирают больше, чем дают.

Сергей вздрогнул. Он не говорил этому человеку о картах. Не говорил о Темптере. Он вообще ни с кем не говорил.

— Откуда вы... — начал он, но не договорил.

Михаил покачал головой. Поднял пустую кружку, покрутил ее в руках, рассматривая сколы на ободке.

— Здесь стены тонкие, — сказал он. — В поезде вообще все тонкое. И пассажиры не всегда молчат. Иногда кричат. Или смеются. Или плачут. Ты не кричал, но я все равно слы-

шал. Не ушами — чем-то другим. У меня такое бывает. С детства. Когда кому-то больно, я чувствую. Как зубная боль, только не моя. Поэтому и зашел. Не люблю, когда люди страдают в одиночку. Это неправильно.

Он поставил кружку на стол и убрал руки. Сергей посмотрел на его ладони — большие, грубые, с желтыми мозолями на пальцах. Кожа на руках была потрескавшейся, как у человека, который много работает руками. Земля. Дерево. Камни. Не скальпель и не мясорубка.

— Вы кто? — спросил Сергей прямо. — Вы не похожи на пассажира. И не похожи на проводницу. И на того, с картами, тоже не похожи.

Михаил помолчал. Взял кружку, поднес к губам, хотя та была пуста, и сделал глоток воздуха. В этом жесте было что-то привычное, бытовое, будто он пил из пустой кружки всю жизнь.

— Я сторож, — сказал он наконец. — Можно сказать, смотритель. За порядком слежу. Чтобы поезд шел правильно, чтобы пассажиры не пропадали. Иногда — чтобы тот, который в шляпе, не слишком увлекался. Он хороший, но у него работа такая — искушать. Соблазнять. Забирать то, что человеку мешает. А мне работа — другое. Я напоминаю, что есть дорога назад. Что не все потеряно. Если человек сам хочет.

Он вытащил из кармана своей дерюжной одежды маленький предмет. Сергей присмотрелся — это был кусочек мела.

Обычный школьный мел, белый, чуть пыльный, с заостренным краем. Михаил положил его на столик, рядом с пустой кружкой.

— Это тебе, — сказал он. — Когда станет совсем невыносимо, когда поймешь, что дальше ехать нельзя, — нарисуй круг. В любом месте. На стене, на полу, на стекле. Стань в центр. И позови меня по имени. Я услышу и приду.

Сергей взял мел. Кусочек был легким, почти невесомым, но в нем чувствовалась сила — странная, затаенная, как в запертом сундуке. Он сжал его в кулаке и спрятал в карман, рядом с кусочком кожи и лепестком ромашки. Три предмета. Три разных прикосновения. Прошрое, настоящее и будущее — мысль пришла сама собой.

— Зачем вы мне это даете? — спросил он. — Вы знаете, кто я. Вы знаете, что я сделал. Зачем помогать?

Михаил посмотрел на него долго, пристально. Глаза его — прозрачные, голубые, с темными ободками радужки — вдруг стали глубже, объемнее, как у человека, который видит не только лицо, но и то, что за ним. Он вздохнул. Откинулся на спинку дивана, и одежда его зашуршала сухо, по-осеннему.

— Расскажу тебе одну историю, — сказал он. — Не про тебя. Про другого. Жил в одном городе пекарь. Самый обычный пекарь. Пек хлеб, булочки, пирожки с повидлом. У него был брат. Младший. Брат тоже хотел печь, но не умел. Тесто у него поднималось плохо, хлеб выходил горьким, покупатели не брали. Он завидовал. Сильно. До ненависти. И од-

нажды младший пришел к старшему и сказал: «Отдай мне рецепт. Тот, который делает твой хлеб самым вкусным. Если не отдашь — я убью тебя». Старший испугался. Он знал, что брат способен на многое. Он отдал рецепт. А младший ушел и испек хлеб по тому рецепту. Но хлеб снова получился горьким. Потому что он клал в него не муку, а зависть. Зависть была его мукой. И все, что он ни делал, было горьким. Даже когда он пытался сделать добро, оно получалось злым. Потому что внутри была только горечь. И он не знал, как от нее избавиться.

Михаил замолчал. Сергей смотрел на него, и слова оседали в груди тяжелыми, горячими камнями.

— Вы хотите сказать, что я — тот младший брат? — спросил он. — Что я завидовал? Чему? Я не завидовал. Я просто делал свою работу.

— Нет, — покачал головой Михаил. — Я не про зависть. Я про то, что внутри была пустота. И он пытался заполнить ее чем-то. Любим. Хлебом, мстостью, деньгами. Но пустота не заполнялась. Потому что он не знал, чего хочет на самом деле. Он хотел, чтобы его любили. Так же, как любили старшего брата. Но вместо того, чтобы попросить любви, он украл рецепт. И получил горечь.

Он взял мел со стола, покрутил в пальцах, положил обратно.

— У тебя, Сергей, — сказал он тихо, — тоже была пустота. Ты заполнял ее кожей, мясом, запахом. Ты думал, что ес-

ли сделаешь красивые вещи, если создашь что-то из того, что было живым, — пустота уйдет. Но она осталась. Потому что ты искал не там. Ты искал снаружи. А нужно было внутри.

Сергей сжал кулаки. Ногти впились в ладони, но боли не было. Только глухое, давящее чувство, которое росло в груди, как опухоль.

— Откуда вы знаете про меня? — спросил он, и голос его сорвался на шепот. — Вы не могли знать. Я никому не говорил. Никто не знает.

Михаил встал. Одежда его зашуршала, и от нее пахло сухой травой и пылью. Он подошел к окну, положил ладонь на стекло. За окном, в черноте, вдруг проступил свет — не станция, не платформа, а что-то другое. Большое, белое, пульсирующее, как сердце. Свет исходил ниоткуда и проникал повсюду, заливая вагон мягким сиянием. Сергей зажмурился — так ярко и одновременно нежно было это свечение. Когда он открыл глаза, Михаил стоял у двери.

— Я знаю, потому что я смотрю не на лица, — сказал он. — Я смотрю на души. У каждой души есть свой цвет. У твоей — черный, как битум. Но в середине — искра. Маленькая, еще живая. Ты ее не затушил. Хотя старался. И за это я тебе даю мел. На всякий случай. Если решишь — нарисуй круг. Я приду. Мы поговорим. А пока — ищи правду. Не ту, что в окне. Ту, что внутри. Ты знаешь, как она выглядит. Ты всегда знал. Просто боялся посмотреть.

Михаил вышел. Дверь за ним закрылась тихо, без щелчка.

ка. И в купе снова остался только гул колес и странный, прозрачный свет, который медленно угасал, таял, как утренний туман.

Сергей сидел неподвижно, сжимая в кармане кусочек мела. Там, рядом с лепестком ромашки и кусочком кожи Алины, мел лежал отдельно. Свой. Возможный. Он вытащил его, поднес к глазам. Белый, гладкий, пахнувший известью и пылью. Провел по нему пальцем — на подушечке осталась белая пыльца, чистая, как снег. Он поднес палец к губам, лизнул. Мел был солоноватым, с привкусом земли.

За стенкой снова раздались голоса. Мальчики. Они пели что-то детское, незамысловатое, про дождик и солнышко. Голоса были звонкими, чистыми. Сергей прислушался и впервые за долгое время улыбнулся. Улыбка вышла неуклюжей, мышцы лица затекли от неиспользования. Но она была. Настоящая. Живая.

Он спрятал мел обратно в карман. Посмотрел на окно. За стеклом снова мелькали искры — красные и белые, сливающиеся в сплошную полосу. И в этом мелькании он вдруг увидел не хаос, а порядок. Не случайность, а закон. Поезд мчался вперед, и в этом движении чувствовалась цель. Не его, но он был частью движения. Хотя бы до тех пор, пока не решит — выходить или оставаться.

Глава 7. Исповедь в тамбуре

Сергей вышел в коридор, когда голоса мальчиков стих-

ли. Тишина в вагоне сделалась плотной, осязаемой, как вода в глубоком колодце. Лампочки под потолком мигали — не ритмично, а с перебоями, будто кто-то сжимал провода в кулаке и разжимал. Тени по стенам ползли, меняя очертания, превращаясь то в фигуры, то в предметы, то в ничто.

Он шел к тамбуру — к тому самому окну, за которым видел мать. Почему-то тянуло туда. Не к свету, не к станциям, а к матовому стеклу, к холоду, к пустоте. Шаги по ковровой дорожке были почти беззвучными, и казалось, что он плывет над полом, не касаясь его. Гул колес сменился на низкий, гудящий звук, похожий на работу трансформатора. В этом звуке угадывались обрывки голосов, но разобрать слова было невозможно.

Он остановился у двери тамбура. Толкнул её — поддалась легко, с маслянистым скрипом. Воздух здесь был другим — холодным, колючим, с запахом озона и горелого металла. За окном — чернота. Ни искр, ни огней, ни лиц. Только чернота, плотная, бархатистая, как та, что бывает перед грозой, когда небо наливается свинцом и кажется, что можно коснуться его рукой.

Сергей прижался лбом к стеклу. Холод проник в череп, разлился по лицу, заставил мышцы напрячься. Он закрыл глаза и попытался дышать ровно, как учили когда-то — вдох на четыре счета, выдох на четыре. Но дыхание сбивалось, в груди клокотало, и с каждым выдохом из горла вырывался хрип.

— Сереженька, — раздалось за спиной.

Он вздрогнул, но не обернулся. Голос проводницы был тихим, почти беззвучным, но он слышал его отчетливо, как будто она стояла в сантиметре от уха. Анна подошла ближе. Он почувствовал запах нафталина и полыни, смешанный с холодным железом тамбура. Её руки легли ему на плечи — сухие, жесткие, как кора старого дерева. Пальцы сжались, и сквозь пиджак он ощутил холод, идущий от её ладоней.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.